



Научная мемуарная литература

Карл Густав Юнг

Воспоминания. Мечтания. Размышления*

Перевод Ивана Задорожнюка

Моя жизнь — это история реализации бессознательного. Все в нем ищет внешних проявлений, а личность характеризуется настоящим желанием перерасти условия бессознательного и осуществиться как целое. Затруднительно употреблять язык науки, чтобы проследить процесс подобного роста на себе самом — не смогу же я осуществиться в качестве научной проблемы.

* Книга видного психолога Карла Густава Юнга «Воспоминания. Мечтания. Размышления» была написана в начале 60-х годов по заказу одного из нью-йоркских издательств. Практически одновременно она вышла на английском и немецком языках. Здесь публикуется раздел книги о детских и школьных годах.

Перевод главы сделан по английскому изданию. C.G. Jung. *Memories. Dream. Reflection.* London: Collins Found Paperback. 1978 (first edition 1961, PP 17–51).

Текст изобилует тонкими психологическими наблюдениями. Эти наблюдения и мысли интересны ученому, учителю, родителю, любому взрослому не только как источник информации, но и как повод для рефлексии на период детства, отрочества и взрослую жизнь человека.

Относящееся к нашему внутреннему мировоззрению, все видимое человеком *subspecial aternitatis* (с точки зрения вечности) может быть выражено только через миф. Он более индивидуализирован и отражает жизнь точнее, чем наука. Ибо последняя работает с усредненными концептами — слишком общими, чтобы достоверно отразить субъективные вариации индивидуальной жизни.

И посему то, что мне надо сейчас делать в мои восемьдесят три года, — это рассказать миф о моей персоне. Я для этого буду употреблять только прямые утверждения и могу только «рассказывать сказку». Что в этой «сказке» истина, а что нет — для меня проблемы не составляет; единственная забота, является ли сказанное моей небылицей, моей истиной.

Автобиографию писать столь трудно потому, что у нас нет стандартов, нет объективных оснований, на которых мы могли бы судить себя. Собственно, нет надежной базы для сравнения. Мне известно, что во многих отношениях я не похож на других, но мне неизвестно, в чем я на них все же похож. Человек не может сравнивать себя с любым другим созданием: он не обезьяна, не корова, не дерево. Я — человек. Но что значит представлять собой такового? Подобно любому другому существу, я — некое нисходящее ответвление бесконечного Божества, посему не могу резко отделять себя от любого животного, или растения, или камня. Только мифическое существо может занять ранг повыше — по сравнению с человеком. Закономерен поэтому вопрос: а может ли индивид сформировать какие-либо определенные мнения о себе самом?

Мы представляем собой определенного рода психический процесс, который неподвластен нашему контролю или же управляем только частично. Соответственно мы не можем достичь определенного суждения о себе или о своей жизни. А если бы могли, то узнали бы и все иное, однако по большому счету все это — лишь претензия. По сути дела, мы никогда не узнаем, как все происходит на самом деле. Историю жизни можно начинать откуда угодно — с любого момента, который всплывет в памяти, однако это все же связано всегда с большими трудностями. Мы не знаем, как жизнь протекает, чтобы считать возможным ее повернуть. Поэтому и ее история не имеет начала, да и конец может быть отмечен лишь достаточно неопределенно.

Жизнь человека — весьма нестрогий эксперимент. Это многоаспектный феномен даже в чисто количественном отношении. В индивидуальном плане данная жизнь более текуча, менее удовлетворительна — и в то же время в бук-

вальном смысле более чудесна, чем все остальное, что существует и развивается. Я поразился этому факту, много лет тому назад, когда я был молодым студентом-медиком, — и это и показалось мне столь чудесным, что я до сих пор не могу избавиться от данного впечатления.

Жизнь всегда виделась мне подобной растению, которое развивается из своего корневища, его подлинные превращения невидимы, скрыты в глубине, его часть, появляющаяся на поверхности, сохраняется лишь в течение одного лета. Затем она исчезает как эфемерный призрак. И когда мы задумываемся о бесконечных подъемах и упадках жизни людей и цивилизаций, то не можем избежать ощущения абсолютной их тщетности. Но все же я никогда не терял осознания чего-то, что живет и осуществляется под этим вечным движением. То, что мы видим на поверхности, проходит. Зерно остается.

В конечном счете достойны внимания лишь те события моей жизни, которые являют собой вторжение непреходящего в осуществляющееся, именно поэтому я расскажу в основном о своем внутреннем опыте, в центре которого помещаются мои мечты и сновидения. Они же формируют первооснову (*prima materia*) и моей научной работы. Это та кипящая лава, из которой путем кристаллизации появляются и камни.

Все иные воспоминания — о путешествиях и людях, о моем окружении — будут всплывать в той степени, в какой это нужно для рассказа о событиях внутреннего мира. В истории нашего времени участвуют многие люди, они ее также описывают; если читатель будет помнить об этом, пусть он обращается к ним или пусть ищет сам, что они ему хотели бы сказать; совокупность же внешних событий моей жизни при этом может во многом поблекнуть или исчезнуть с поля их зрения. Мои встречи с «иной» реальностью, схватки с бессознательным прочно отпечатались в моей памяти, в этой сфере жизнь всегда была изобильной дарами, по сравнению с которыми все остальное теряет свою цену.

Подобно этому и люди прочно воцаряются в моих воспоминаниях лишь тогда, когда их имена с самого начала отпечатались на письменах моей судьбы, так что встреча с ними в этих мемуарах будет в то же время и своего рода их объединением.

Внутренний опыт отпечатывается и во внешних событиях, которые составляли мой жизненный путь, были наполнены для меня и в юности, и позже особым значением. Я рано пришел к мысли, что если ответ на проблемы и слож-

ности жизни не идет изнутри, то он в конечном счете стоит очень немногого. Внешние обстоятельства не заменят внутреннего опыта. Поэтому моя жизнь исключительно бедна на яркие события. Я не могу сказать о них много и потому, что они поразили бы меня своей пустотой и бессвязностью. Я могу понять себя лишь в свете внутренних событий. Они-то и определяют уникальность моей жизни, собственно и составляя личностную автобиографию.

Школьные годы

Мой одиннадцатый год запомнился мне тем, что я после него пошел в Базельскую гимназию. Тем самым я оставил места своих незамысловатых игр и по-настоящему вошел в «большой мир» с авторитетными людьми, куда более весомыми, чем мой отец, живущими в больших великолепных домах, перемещающимися на вместительных и запряженных чудесными лошадьми экипажах, разговаривающими на чистом немецком и французском языках. Их сыновья, хорошо одетые, обладающие тонкими манерами и с полными карманами денег, стали теперь моими одноклассниками. С большим удивлением я тайком прислушивался к их разговорам о проведенных в Альпах каникулах. Они были среди тех блестящих на солнце снежных вершин близ Цюриха, с которых виделось даже море, — это совершенно сразило меня. Я вглядывался в них, как будто они были из другого мира, видевшими покрытые снегом горы в непостижимом огне и далекое, не представляемое для меня море. Тогда впервые я понял, насколько мы бедны, что мой отец всего лишь скромный сельский пастор, а я еще более скромный сын пастора с дырявыми ботинками, который должен просиживать по шесть часов в школе, обходясь сухим завтраком. Я посмотрел на моих родителей другими глазами, начал понимать их дела и заботы. Особенно я сочувствовал отцу на удивление куда больше, чем матери. Она казалась мне более чужой. Но при этом я всегда был на ее стороне в то время, когда отец впадал в ставшую обычной раздражительность. Эта необходимость быть на чьей-то стороне не совсем благотворно сказалась на формировании моего характера. Вместо того чтобы освободиться от этих конфликтов, я принимал на себя роль высшего арбитра, который волей-неволей должен рассудить своих родителей. Это придало мне известную напыщенность; в это же время усилилось мое нестабильное самодовольство, сопровождаясь одновременно упадками духа.

Когда мне было девять лет, у матери появилась маленькая девочка. Мой отец был взволнован и обрадован. «Сегодня

ночью у тебя появится маленькая сестричка», — сказал он мне, и я был очень удивлен, что ничего не заметил. Я не задумывался о том, почему моя мать лежит в постели чаще, чем обычно, хотя в любом случае я знал, что она держит маленькое существо, которое выглядело очень разочаровывающе: красное, сморщенное, как у старушки, лицо, закрытые глаза, слепые, как у куклы, подумалось мне. На затылке у этого существа виднелись одинокие длинные волоски рыжего цвета, которые мне нечто напоминали: ну не мартышка ли? Я был потрясен и не знал, как себя вести. Разве так должно выглядеть новорожденное дитя? Мне что-то бормотали об аисте, который, как оказалось, принес дитя. Но если так, то где же носильщики для щенят и котят? И сколько раз должен был прилететь аист туда и обратно, чтобы принести всех? А как насчет коров? Я не мог представить, как бы мог аист принести целого теленка в клюве. Кроме этого, фермеры говорили: корова отелилась так. Так что не аист приносил теленка. Эта история казалась мне похожей на ту чепуху, которой меня всегда пичкали. Я с уверенностью знал, что моя мать должна еще раз сделать что-то такое, о чем мне не положено знать.

Неожиданное появление сестры породило странное чувство неудовлетворенности, которое обострило мою чудаковатость и наблюдательность. Дальнейшие действия со стороны матери усилили подозрения, что с этим рождением связано нечто прискорбное. В любом случае данное событие не так уж сильно взволновало меня, хотя оно, вероятно, внесло свой вклад в расширение опыта, когда мне исполнилось двенадцать лет.

Моя мать имела неприятную привычку давать мне всякого рода добрые советы, когда я отправлялся туда, куда меня приглашали.

В таком случае я не только надевал мою лучшую одежду и чистил ботинки, но и должен был почувствовать величие моих намерений и моего появления на публике, так что можно представить то унижение перед людьми на улице, которые слышали все позорные вещи, высказываемые громко моей матерью: «Не забудь передать им привет от папы и мамы и вытирать свой нос — ты не забыл носового платка? А вымыл руки?» И так далее. Меня всегда поражало, насколько неуместно выставлять всему миру мои скрытые чувства, сопровождающие уверенность в себе. И я предпринимал от чувства тщеславия все, чтобы предстать насколько возможно безупречным. Ибо эти события

значили для меня очень много. На пути к дому, куда я был приглашен, я чувствовал себя важно и достойно, как всегда, когда одевал мою праздничную одежду по выходным. Но картина коренным образом менялась, как только я попадал в дом, куда я был приглашен. Ощущение величия и власти живущих там людей подавляло меня. Я боялся их и в своих малейших копаниях мог прятаться до самых глубин. Это я ощущал, как только слышал звон колокольчика. Дребезжащий звук изнутри казался похожим на призыв судьбы в моих ушах. Я ощущал себя столь робко и умоляюще, как заблудший пес. Но было даже гораздо хуже, когда моя мать готовила меня непосредственно к этому. Подобно колоколу в моих ушах звучало: «Мои ботинки грязны, как и мои руки, у меня нет платка и моя шея черна от грязи». Из чувства неповиновения я не должен был поэтому следовать наставлениям моих родителей, иначе я вел себя с непривычными насмешливостью и упрямством. Если положение становилось слишком плохим, я обращался мыслью к моему тайному сокровищу, и оно помогало мне сохранить самообладание. Ибо даже в моем заброшенном состоянии я помнил, что я одновременно «иной», человек, обладающий неприкосновенной тайной: черным камнем и маленьким человечком в черном платье и низкой шляпе.

Я не могу припомнить из мальчишеских лет, были ли у меня мысли о возможной связи между Господом Иисусом или иезуитом в черном платье — человеком в скюртуке и высокой шляпе, стоящем возле могилы, с могильной ямой посредине луга, подземным замком фаллоса и моим человечком в пенале. Сновидение о фаллическом боге было моей первой тайной, манекен второй. При этом, думаю, мне действительно казалось, что я смутно осознаю отношение между «светящимся камнем» и тем камнем, которым являюсь сам.

До сегодняшнего часа, когда я излагаю свои воспоминания в возрасте восьмидесяти трех лет, я никогда не мог полностью развить нить наиболее ранних воспоминаний. Они похожи на расходящиеся отростки единого подземного корня, похожи на станции по пути в развивающееся бессознательное, хотя для меня было все труднее выработать позитивное отношение к Господу Иисусу. Я помню, что идея Бога начала меня интересовать лет с одиннадцати. Я принялся за молитвы к Богу, и это в какой-то мере удовлетворяло меня, ибо это были молитвы без противоречий. Бог был не настолько сложен, чтобы разочаровывать ме-

ня. Более того, он вовсе не представлялся личностью в черном одеянии, или Иисусом Христом на картине, облаченным в яркие цветные одежды, с которым люди ведут себя столь фамиллярно. Скорее, это было уникальное существо, о котором, как я слышал, невозможно сформировать правильного понятия. Он являл собой, по-видимому, кого-то вроде очень могущественного старого человека. Но, к моему большому удовлетворению, на этот счет существовала заповедь, которая утверждала: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения всего». Поэтому я не мог обращаться с Ним с той фамиллярностью, как с Иисусом Христом, за которым не было «тайны». И мне начала приходить в голову некоторая аналогия с моим секретом на крыше.

* * *

Школа надоела мне. Приходилось проводить там слишком много времени, которое я мог бы применить, рисуя битвы и играя с огнем. Уроки закона Божьего были невыразимо глупы, но я ощущал совершенный страх на уроках математики. Учитель, считая, что алгебра — вполне естественное дело, занимался с одаренными, в то время как я еле понимал, что такое в действительности числа. Это не были ни цветы, ни животные, ни камни; они не значили ничего, что можно было бы представить просто количество, получающееся в результате счета. К моему замешательству эти количества теперь представлялись буквами с определенным звучанием, так что можно сказать, что они становились слышимыми. Надо добавить, что мои соученики могли обращаться с ними и находили это само собой разумеющимся. Никто не мог мне рассказать, что такое числа, а я неспособен был даже сформулировать вопрос. К своему ужасу, я не нашел никого, кто мог бы понять мои затруднения. Я благодарен учителю, который провел достаточно времени, чтобы объяснить мне цель этих курьезных операций по превращению умопостигаемых количеств в звуки. Наконец я понял, что главная цель здесь — своеобразная система сокращений, с помощью которых большие количества могут быть выражены в кратких формулах. Но не это в конечном счете меня интересовало. Я думал, что все это достаточно произвольно. Почему числа должны выражаться звуками? Куда правильнее было бы, если бы выражение a значило апельсиновое дерево, b — бочонок, а x значило знак вопроса. A , b , c , x , y , z не обладали конкретностью и не объясняли мне чего-нибудь о сущности чисел — чего-то большего, чем объясняло бы апельси-

новое дерево. Но в наибольшей мере доводили меня до белого каления из всего этого уравнения. Если $a = b$, затем $b = c$, затем $a = c$; даже если по определению a значит нечто совсем отличное от b , то, будучи таким различным, оно не может быть равным b , но только c . Как бы то ни было, но существовала же проблема эквивалентности, когда утверждалось, что $a = a$, $b = b$ и так далее. Это я еще мог воспринять, тогда как $a = b$ казалось мне глубокой ложью и обманом. Я был так же оскорблен, когда учитель утверждал вопреки собственному своему определению параллельных линий, что они пересекутся в бесконечности. Это представлялось мне не лучшим чего-то вроде глупой хитрости попавшихся крестьян на воровстве, и я не мог и не знал бы, что делать со всем этим. Моя интеллектуальная нравственность протестовала против таких эксцентричных несуразиц, которые все дальше отдаляли меня от понимания математики. Только в старом возрасте у меня возникло непоколебимое убеждение, что если бы я смог, подобно моим одноклассникам, воспринимать без сопротивления уравнения типа $a = b$, или солнце=луне, или собака=кошке, то математика оглупила меня до бесконечности — в какой мере, я начинаю понимать только сейчас, в восьмидесятичетырехлетнем возрасте. В течение всей моей жизни я стоял в недоумении перед вопросом, почему случилось так, что я не мог достичь понимания математики — в то время как я мог без сомнений пользоваться собственным счетом. Прежде всего я уразумел роль моих собственных моральных сомнений относительно математики. Уравнения я мог воспринимать, только подставляя определенные числовые значения на место букв и проверяя значение операций посредством прямого подсчета. Как только мы выучили математику, я оказался способным в большей или меньшей степени сдать ее, копируя алгебраические формулы, смысла которых не понимал, просто вспоминая отдельные комбинации букв, которые были написаны на доске. Мне не надо было больше достигать успехов на пути постижения чисел, когда время от времени учитель говорил: «Здесь мы напишем такое-то выражение», — и затем изображал на доске несколько букв. У меня не было мысли о том, откуда он взял и зачем их пишет; единственная причина, которую я мог придумать, — это поиск им приемлемой процедуры, которая, как он чувствовал, приведет к удовлетворительному результату. Я был столь утрачен своей невосприимчивостью, что оказался не способен задавать никаких вопросов.

Уроки математики были для меня временем явного террора и мук. Другие предметы я воспринимал с большей легкостью: благодаря хорошей визуальной памяти, которую я в течение долгого времени умудрялся применять как способ надувательства по пути к математике, обычно получал хорошие отметки. Но страх перед поражением и ощущение своей малости перед лицом большого мира вокруг способствовали появлению во мне не только неприязни, но и своеобразного молчаливого протеста, полностью разрушивших благоприятное отношение к школе. Кроме того, я был исключен из класса рисования по причине полной неспособности. Такой поворот дела мной приветствовался, так как у меня оказалось больше свободного времени, но, с другой стороны, это было ощутимое поражение, ибо я имел некоторые способности к рисованию, хотя и не мог объяснить, что они существенно зависят от способа моего восприятия. Я мог рисовать только то, что поражало мое воображение. Но меня заставляли копировать рисунки греческих богов с невидящими глазами, и, если это не удавалось, учитель соответственно думал, что нужно что-то более натуралистическое, и усаживал меня перед картиной козлиной головы. Это задание я провалил полностью, что и завершило мои уроки рисования.

К моим поражениям по математике и рисованию затем добавилось третье: с самого начала я ненавидел гимнастику. Я не мог перенести того, что другие будут говорить, как мне двигаться. Я пришел в школу, чтобы чему-то научиться, а не заниматься бесполезной и бессмысленной акробатикой. Более того, в результате предшествующих событий я получил некую физическую скованность, которую не был в состоянии преодолеть и далеко позже. Эта скованность в свою очередь была связана с неверием в мир и его возможности.

Разумеется, мир представлялся мне прекрасным и желанным, но был также наполнен смутными и непонятными опасностями. Поэтому я всегда желал знать с самого начала, на что и на кого могу положиться. А может, это было связано с матерью, от которой я оказался оторванным на несколько месяцев? Когда начались мои невротические приступы обморока, которые я опишу позже, доктор запретил мне гимнастику, к большому удовлетворению. Я сбросил очередное бремя — и еще раз был уязвлен поражением.

Приобретенное таким образом время тратилось не только на игры. Это позволило мне оправдать с некоторой большей

свободой преобладающее увлечение, которое я развил в себе: прочитывать каждый кусок бумаги с напечатанными буквами, какой только попадался в руки.

* * *

Мои двенадцать лет стали для меня поистине несчастными.

Однажды в начале лета 1887 года я стоял на кафедральной площади, поджидая моего одноклассника, который возвращался домой той же дорогой. Было двенадцать часов, и утренние занятия закончились. Неожиданно второй мальчик толкнул меня и сбил с ног. Я упал, стукнувшись головой о бордюрный камень столь сильно, что почти потерял сознание. Около полутора часов после этого я был немного ошеломлен. В тот же момент я почувствовал и толчок мысли, поразивший мой ум: «Теперь я больше не смогу ходить в школу». Я наполовину был в бессознательном состоянии, но остался лежать немного больше, чем это, строго говоря, требовалось, — чтобы отомстить себе за уязвимость. Затем меня подняли люди и отнесли в дом рядом, где жили две престарелые тетки, оставшиеся старыми девами.

С тех пор начались приступы обморока и тогда, когда я вернулся в школу, и когда мои родители усаживали меня за домашние задания. Более шести месяцев я не ходил в школу, и это был праздник. Я был свободен, мог спать часами, быть там, где хотел, — в лесу, на воде, за рисованием. Я возобновил картины битв, ужасные сцены войны, старые замки, которые были разрушены и пылали в огне, наполнял страницу за страницей карикатурами. Подобные карикатуры появлялись в сознании перед засыпанием до сегодняшнего дня — ослабившиеся маски, которые движутся и изменяются, среди них появляются и знакомые лица людей, давно уже умерших.

Кроме всего прочего, я оказался способным погружаться в мир таинственного. К его области принадлежали деревья, омуты, камни и животные, а также отцовская библиотека. Но я вырастал все в большем отдалении от мира и мог испытывать по этому поводу угрызения совести. Я растрачивал по мелочам время на бездельничанье, коллекционирование, чтение и игру. Но не ощущал себя от этого более счастливым; возникло странное чувство, будто я избегаю самого себя.

Я полностью забыл, когда все это закончилось, но помню огорчение родителей от этих бедствий. Они консультировались с различными врачами, которые почесывали головы и отправляли меня проводить каникулы с родственни-

ками в Винтертуре. Этот город имел железнодорожный вокзал, который служил для меня источником бесконечного восхищения. Но когда я вернулся домой, все пошло по-старому. Один доктор посчитал, что у меня эпилепсия. Я знал, на что похожи эпилептические припадки, и внутренне смеялся над подобной несуразицей, однако родители становились все более беспокоящими. Однажды отца позвал его друг. Они сидели в саду, а я спрятался за кустом, так как был охвачен ненасытным любопытством. Я слышал, как гость спросил моего отца: «И что с вашим сыном?» «О, дело плохое, — ответил отец. — Врачи больше не знают, что с ним происходит. Они думают, что это может быть эпилепсия. Будет ужасно, если она неизлечима. Я потеряю и то небольшое, что имею, а что станет с мальчиком, если он не сможет заработать себе на жизнь?»

Услышанное было подобно удару грома: это было столкновение с реальностью. «А почему это я должен ходить на работу?» — внезапно подумалось мне.

С тех пор я стал серьезным ребенком. Я отошел, направился в кабинет отца, взял мою латинскую грамматику и начал зубрить ее со всем усердием. После десяти минут ощутились тончайшие признаки приближения обморока, и я чуть не свалился со стула, но через несколько минут почувствовал себя лучше и продолжал работать. «Черт побери, я не намерен падать в обмороки», — сказал я себе и настоял на этом. После этого прошло минут пятнадцать и последовала еще одна атака. Но она также прошла, подобно первой. «Вот теперь я действительно могу продолжать работу!» Я особо не напрягался, и после часа занятий наступил еще один приступ. Все же я не поддался и работал еще час, пока не почувствовал, что преодолел приступы. Наконец мое состояние улучшилось по сравнению с предшествующими месяцами. Фактически приступы не повторялись. С этого дня я работал над грамматикой и другими учебниками каждый день, а через несколько дней вернулся в школу и никогда не страдал от каких-либо приступов, даже до настоящего времени. Целый воз улов был перевернут и забыт! Вот когда я понял, что такое невроз.

Постепенно воспоминание о том, как все это происходило, вернулось, когда я четко увидел, что сам могу помогать себе выходить из таких неприятных ситуаций. Поэтому я никогда серьезно не сердился на соученика, который меня толкнул. Я знаю, что он был перепуган, но допускал, что, с другой стороны, все это дело было каким-то дьяволь-

ским умыслом. Я знал также, что такого со мной больше не случится никогда. Я знал, что вызвал ярость против себя у себя же самого, и в то же время стыдился себя. Ибо знал, что дурачил сам себя и что сделался посмешищем в собственных глазах. Мне не на кого было сердиться, я сам был проклятым ренегатом! С этого времени я не мог позволить родителям беспокоиться о себе или говорить со мной сочувствующим тоном.

Невроз стал одной из моих тайн, но это была постыдная тайна, поражение. Тем не менее она побудила меня учиться пунктуально и с необычным прилежанием. В этот день обнаружилось начало моей добросовестности не ради внешних причин, о которых я кое-что уже знал, а ради себя самого. Регулярно я мог проводить около пяти часов за занятиями, а иногда работал с трех до семи часов утра, прежде чем идти в школу. Сбивало меня с толку в состоянии кризиса одиночество, мое наслаждение уединением.

Природа казалась мне полной чудес и хотелось погрузиться в нее. Каждый камень, каждое дерево, каждая отдельная вещь казалась мне живой и невыразимо чудесной. Я погружался в природу, уползал, так мне казалось, в самую ее сердцевину, прячась при этом от всего людского в мире.



переводы
